

Натиг

Расулзаде

ГОЛЬФСТРИМ
I



Натиг Расулзаде Гольфстрим

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12496666

Гольфстрим. Роман-кардиограмма / Натиг Расулзаде: Москва; 2015

Аннотация

Это роман на современную тему, он очень необычен по форме, и, по-моему, мое давнишнее стремление написать очередное произведение в совершенно новом для меня, не присущем мне стиле, в данном произведении осуществилось.

Есть островки в памяти человека – давние и не очень – которые помогают нам жить, которые заставляют нас жить дальше, несмотря на невзгоды, проблемы, горе, и человек, оставшись наедине со своим горем, обращается к этим островкам, к этому теплому течению, некогда проходившему через его жизнь, и теперь оставшемуся навсегда с ним как желанные, придающие силы воспоминания: вот это было в моей жизни, не все так плохо было...

Натиг Расулзаде

Натиг Расулзаде

Гольфстрим

*Когда сгоришь, что станется с тобою,
Уйдешь ли дымом в небо голубое,
Золой ли станешь мертвой на ветру,
Что своего оставишь ты в миру,
Чем вспомнить нам тебя в юдоли ранней?
Зачем ты в мир пришел?
Что пепел скрыл от нас?
А вдруг из пепла нам блеснет алмаз,
Блеснет со дна своею чистой гранью.*

Циприан Норвида (перевод И. Бродского)

Нет, не мемуары, Боже упаси, хотя, по сути несколько похоже; я всегда побаивался этого слова – «мемуары», особенно в последние лет десять, потому что слово «мемуары» для писателя – это своеобразное подведение итогов, а подводить итоги... всегда хочется сказать – рановато. Пока собираются, копят материалы, а там глядишь – и опоздал, проглядел, и перешел рубеж, и никаких мемуаров от тебя не осталось... Но есть нечто в жизни любого человека, в особенности – творческого человека, что заставляет его обернуться назад, поразмышлять, вспомнить свое прошлое, сбиться со счета, припомнив совершенные глупости и понять, что ничему они, эти глупости и ошибки его не научили, потому что он совершает точно такие же ошибки, но уже на новом,

более высоком витке жизни. Скажем так: принявшие новые формы, выросшие из детских штанишек, ошибки и промахи. Однако, хотим мы этого или нет, прошлое живет с нами, стучится в нашу память – откройте! – не желая оставаться забытым, тревожит сердце и порой помогает нам выживать в этом мире, когда сегодняшней день время от времени становится пустым и устрашающим...

Кто не может в полной мере жить настоящим, тот обращается к прошлому, часто приукрашивая его, идеализируя, желая видеть в розовом свете, и порой с годами уже не отличая вымысла от давних реальных событий – в большинстве случаев эта истина оправдывает себя; но в то же время необходимо помнить свое прошлое, чтобы идти в будущее, хотя бы частично избавляясь от груза ошибок и просчетов, совершенных в прожитые годы.

Мы можем видеть далеко вглубь нашего прошлого, и потому жизнь человеческая, какая бы долгая она ни была, кажется нам одним мгновением – всё мы помним, будто вчера случилось. Но нам не дано хотя бы на минуту вперед увидеть то, что предстоит. Может, в компенсацию того Бог и наделил нас способностью не забывать прошлое, самое далекое наше прошлое? Смотрите назад, не забывайте о грехах, совершенных и о греховных помыслах ваших, не повторяйте их в оставшемся вам времени, ведите праведную жизнь, тогда вперед поведу вас Я.

Вспомнить, разбудить, воскресить чувства, запахи, ощу-

щения, которые уже однажды, много лет назад пережил...

Самые яркие детские впечатления, оставшиеся со мной на всю жизнь, трудно характеризовать, как пацифистские. В них много агрессии, я вырос в мальчишеских драках на улице, зарабатывая синяки и шишки, на которые к моим семи-восемью годам моя мама уже не обращала внимания, как почти и все матери в нашем квартале. Мы жили в районе бедняков. Впрочем, богачей в те годы и не было, и слово «богач» считалось чуть ли не оскорблением, а точнее слово – «буржуй», это слово мы, мальчишки употребляли даже как ругательство. Но дети из бедных, плохо обеспеченных семей, будучи солидарными перед устрашающим понятием «буржуй», все-таки находили разнообразные поводы для антагонистических отношений и частых потасовок и драк между собой; бедность, что ни говори, озлобляла, и швыряла тебя в жизнь озлобленным и готовым к отпору.

Но все ж таки были у людей кое-какие накопления, сбережения и, естественно, в стране работали сберегательные кассы (не путать с банками), народ постепенно умнел, становился практичнее, уже не кичился своим пролетарским происхождением и не старался его выпячивать где только можно, не гордился тем что, в плохо отструганном, напоминавшем гроб, шкафу у него всего лишь один костюм и две застиранные рубашки; природное чувство собственника, присущее человеку со времен неандертальца и до сего дня, изморованное пропагандой всеобщей коллективизации в од-

ной отдельно взятой и самой «правильной» стране мира, постепенно просыпалось в душе многих и уже не хотело засыпать; покупали, стало быть, приобретали, но с оглядкой, да, с оглядкой, чтобы не перестараться, не попасть в рискованную категорию «буржуев», что могло повлечь за собой опасные последствия. За всем и вся зорко следили, те, кому досталось в удел зорко следить.

Я с малых лет, еще до посещения школы, любил лепить, сначала материалом служил пластилин, который в то время продавали во всех магазинах канцелярских товаров, потом – уже после того, как я показал неплохие результаты – в ход пошла глина, гипс. За моими работами следил дядя, двоюродный брат моей матери, известный в городе художник, и поощрял меня в моем пристрастии, а родителям делал в отношении меня радужные прогнозы, заставлявшие их верить словам профессионала о том, что из меня выйдет толк, и со временем я могу стать настоящим скульптором. Эти заверения известного художника были как бальзам на души моих родителей, потому что они видели, как хорошо и в достатке по сравнению с обычными людьми, живут люди творческих профессий – писатели, художники, композиторы... И были рады, что во мне неожиданно проявились способности творческой личности и всячески поощряли меня. Тогда развивали активную деятельность различные секции в домах пионеров, если вам это о чем-нибудь говорит, и детей, в которых временно вселился какой-либо созидательный бес, родители

приводили в этот дом, где с детьми занимались преподаватели, из кого-то готовили шахматистов, из кого-то художников... Я стал посещать этот дом пионеров, хотя дошкольников туда не принимали, но тут замолвил словечко мой дядя, и очень кстати оказалось, что молодой художник возглавлявший секцию живописи и скульптуры был его, дядин ученик. Я стал там учиться лепить и рисовать (рисунок давался мне хуже, чем лепка), отводил меня отец, я шел с ним по улице, держась за его указательный палец, временами закидывал голову и смотрел ему в лицо снизу вверх, и чувствовал, что отец гордится мной, чуть ли не как особо одаренным ребенком, вундеркиндом. Это мне было приятно, но с другой стороны и страшновато оттого, что я могу не оправдать его надежд; то, что он гордился мной налагало на мои мальчишеские плечи определенную ответственность, мне казалось, что я, во что бы то ни стало, должен оправдать его надежды, изо всех сил напрячься и стараться, чтобы он и дальше мог гордиться мной; это ограничивало мою свободу, моё желание делать всё, что взбредёт в голову, мою детскую склонность к мечтаниям и безделью, и главное: мое тайное желание, присущее всем ленивым людям – ни за что не нести ответственность. Ответственности я боялся, боюсь до сих пор.

В маленьком дворике нашего дома, где проживало несколько семей, под лестницей ведущей на второй этаж, было крохотное, уютное ничейное местечко, будто нарочно напрашивавшееся на мастерскую начинающего малолетнего,

но полного амбиций, скульптора. Соседи, прослышав о моем умении и сначала убедившись, что работы мои на самом деле «похожи» на оригиналы (я вылепил разных зверушек, и пиком творчества на тот момент была фигура раненной лошади, вместе со всадником, лежавшей на боку), стали помогать мне: кто-то раздобыл расшатанный, плохо сколоченный из необструганных досок столик, на котором можно было лепить фигуры, кто-то пожертвовал ненужный тазик, необходимый для смачивания глины... Отец тоже активно участвовал в деле становления юного скульптора: он достал мне мягкой, прекрасной, светлой глины, специально для этой цели поехав куда-то за город. И я стал лепить. Я получал несказанное удовольствие от своего дела еще и потому, что постоянно находился со своим рукодельем (пока иначе это трудно было назвать) в центре внимания взрослых людей. Соседи, большей частью – соседки, проходя по своим делам через дворик, задерживались на минуту, смотрели, подчеркнуто восхищенно ахали, цокали языками, хвалили...

Но улица, та улица, где я жил, в лице моих сверстников и мальчишек постарше не воспринимала творчество малолетки, не верила, отвергала и не упускала случая поиздеваться: люди тут были простые, и ни у одного мальчика отец или мать не были ни художниками, ни какими бы то ни было другими деятелями искусства, и на меня стали смотреть косо, как на белую ворону, а на мои работы – как на стремление отличиться, выделиться из их среды.

Однажды я вылепил из глины голову заколдованного богатыря из сказки Пушкина «Руслан и Людмила»; мама, прочитав мне вслух сказку, показала иллюстрацию из книги сказок Пушкина, мне она очень понравилась, красочная, яркая – печальная голова доброго богатыря, торчащая из земли. Мама читала мне стихи и сказки из книги, а закончив чтение, эту книгу по привычке с шумом захлопывала. В раннем детстве я каждый раз вздрагивал, когда она так делала: я опасался, что слова и предложения в книге, так красиво расположенные, перемешаются, и в следующий раз, когда мама откроет книгу, чтобы перечитать, фразы и строчки уже будут расположены по-другому, уже будут не так прекрасны. Я высказал, как умел, свои страхи маме, она отнеслась серьезно к моим словам и сказала:

– Не надо бояться, эти слова написаны крепко, и в книге они держатся надежно. Не перемешаются.

И вот я стал лепить образ богатыря из сказки; я вложил в свою работу всю душу, долго трудился, все – как настоящий профессионал – был недоволен сделанным, несколько раз переделывал, и вот, наконец, я решил, что работа закончена, и я готов был показать её взрослым, в особенности моему дяде-художнику, мнение которого я уважал и который мне много помогал советами, и даже подарил деревянный стек из самшитового дерева и показал, как им пользоваться. Да, работа была готова, мне уже нечего было переделывать, я был доволен: вот голова в богатырском шлеме надула

щеки, чтобы сдуть, как песчинку дерзкого всадника, потревожившего её покой; сердитый взгляд из-под насупленных бровей, длинные, лежащие на земле пряди волос, как я видел на картинке в книге, одним словом – голова вышла, как живая. Пришел дядя, посмотрел, похвалил, он никогда особенно не хвалил мое увлечение мне в лицо, а свои соображения высказывал маме и прочил мне будущее настоящего скульптора. А на этот раз дядя не только похвалил мою работу, он делом доказал, что очередной мой труд ему на самом деле понравился: он взял мою скульптуру с собой для обжига и обещал принести в ближайшее время. Это для меня была неожиданная честь, сам известный художник мне шестилетнему мальчику оказывает такую, на мой мальчишеский взгляд, неоценимую услугу. Я был на седьмом небе от счастья, и весь этот день ходил, будто летал, даже не хотелось выходить из дома, со двора, где находилась моя «мастерская»; я, как голодный котенок вокруг сметаны, ходил вокруг стола со своими работами и гордо посматривал на них; не хотелось поиграть на улице с ребятами, я так и этак перекачивал в сердце, задышающемся от радости, свое хрупкое счастье, не желая ни с кем делиться, чтобы не растратить его на людей, абсолютно ничего не понимающих в ваяние, и не разочароваться.

Я весь был захвачен, наполнен своим творением, даже плохо спал несколько ночей и, пользуясь тем, что стояла ночная летняя жара, что не мешало родителям крепко спать, вы-

ходил во двор к своему рабочему столику, заменившему мне верстак, и в темноте подолгу вглядывался в надувшую щеки голову богатыря, следившую за мной разъяренным взглядом, будто это я метнул в него копьё. Взгляд, сопровождавший смотревшего на скульптуру, у меня получился случайно, а когда получился, поразил меня и я хотел понять, как это вышло, для меня это было как фокус, который ребёнку неожиданно удалось повторить за взрослым фокусником. Одним словом, я так был влюблен в свою удавшуюся работу, что долгое время после неё не притрагивался к глине, не мог «творить», видимо, подсознательно боясь, что ничего лучше этого «творения» уже не получится.

А глиняная голова с надутыми щеками оставалась на старом расшатанном столике под лестничной площадкой во дворе, вместе с другими моими работами, выдержавшими испытание критикой дяди-художника; соседи привыкали к фигуркам на столе под лестницей и уже проходя мимо не обращали на них внимания, и жизнь в маленьком нашем дворике шла своим чередом, в том числе и моя мальчишеская жизнь. Я стал опять бегать на улицу, как до моего увлечения, временно оторвавшего меня от ватаги озорников, опять продолжились шумные игры, драки, примирения и ссоры, потом уж очень как-то скоро пролетело лето, как оно обычно пролетает в отличие от других времен года, когда тебе всего шесть лет, и пришла мне пора идти в школу.

Однажды, возвращаясь из школы, я в нашем дворике,

дверь в который запиралась только на ночь, обнаружил своего давнего, заклятого врага – мальчика, с которым то и дело выяснял отношения; он был на год старше меня, но почему-то в школу не ходил, говорят, у него была мачеха, которая во всем потакала его желаниям и в итоге избаловала безбожно, стараясь доказать, что она может быть для него не хуже родной, умершей несколько лет назад матери. Сердце мое сжалось в недобром предчувствие, когда я увидел его стоящего возле моего рабочего стола, уставленного самыми лучшими моими работами, над которыми я старался все лето, тогда как другие ребята проводили невыносимо жаркие дни на дачах, в гостях у своих родственников, на берегу моря и могли купаться в море, которое я безумно любил. Мальчик, увидев меня, с тихим, злорадным смешком проскользнул мимо и выбежал на улицу; в руке за спиной он что-то прятал от меня, и когда, медленно соображая, охваченный ужасным предчувствием, я с опозданием кинулся за ним, было уже поздно: он, сидя на корточках и гнусно улыбаясь, методично стучал об край тротуара моей лучшей работой, головой витязя в шлеме, и несколько кусочков хрупкой скульптуры уже отломились и посыпались на землю. Я был взбешен, я впервые испытал на себе, что означает выражение «кровь кинулась мне в голову»; с диким криком, испугавшим мальчика, я бросился на него, но ему удалось ускользнуть, он швырнул в меня изуродованной фигурой, и пустился бежать. Ярость застилала мне глаза, я в первый раз

в жизни сталкивался с тем, как может быть дорог человеку его труд, в который он вложил свое сердце, свою душу и малые пока свои способности; как дорого человеку может быть то, над чем он мучился и искал, над чем вознеслась, взметнулась его фантазия, раскинув свои волшебные крылья, то, что в его короткой мальчишеской жизни удачно получилось и чем он гордился. Я, плохо видя от слез, застилавших мне глаза, наконец, настиг его, изо всех сил схватил первое, что попало под руку – кажется, это была нога убежавшего вора – и тут же намертво вцепился зубами в эту ненавистную ногу, часть больше всего на свете ненавидимого в эту минуту существа; вцепился, будто стараясь оторвать кусок ноги, как зверь, вонзивший зубы в свою жертву. На его истошный крик сбежались соседи с улицы. Все, кроме моей матери, мои родители никогда не вмешивались в детские конфликты, которые случались с утра до вечера на нашей богоспасаемой улице. Зато очень активно вмешалась мачеха моего лютого врага. Я, охваченный волной ненависти и страстным желанием уничтожить обидчика, очнулся как от забытья от того, что взрослая женщина, нависшая надо мной азартно хлестала меня по щекам, доказывая тем самым всем соседям, как горячо любит своего пасынка. Это меня несколько отрезвило, и мужчинам, наконец, удалось разжать мои зубы, вцепившиеся в ногу обидчика и отвести меня подальше от воющего от боли мальчика.

На этот раз скандал был крупный, я даже сквозь брюки

прокусил до крови ногу соседского мальчика, и его мачеха, не удовлетворившись многочисленными пощечинами мне, приходила жаловаться моей матери, и жаловалась крикливым, истерическим голосом, перемежая нормальные, бывшие в употребление слова с бранными, что вполне соответствовало её воспитанию и образу жизни. Тем не менее, я был наказан. Мама всегда меня наказывала, и почти всегда в первую очередь винила меня, не очень вникая в подробности. Это, конечно, было обидно. Но у неё был один аргумент, который в данном случае не срабатывал, тем не менее, она его приводила всегда, привела и на этот раз: «Надо было подальше держаться от него». И я не мог ей объяснить, что не мне, а моему врагу надо было подальше держаться от меня, что я только защищал свою работу, то, над чем долго трудился, то, во что вложил душу и чем гордился, то, что он уничтожил, и потому я не мог подальше держаться от него, а наоборот – должен был, как можно ближе держаться к нему, чтобы отомстить, потому что иначе моё маленькое сердце могло бы разорваться от обиды.

Подобное происходило впервые со мной, позже я понял, что когда люди непонимающие, злопыхатели и дилетанты уничтожают твою работу, созданную и продиктованную настоящим вдохновением, это все равно, что убивают частичку тебя, твоей души, и это нельзя принимать равнодушно, надо бороться.

И вот теперь, когда мне уже немало лет и детские воспо-

минания становятся все ярче и ближе, я веду исчисление годов своей сознательной жизни именно с того времени, когда я еще неясно, еще не умом, но сердцем точно понял, что самая страшная и жестокая обида для творца (не побоюсь этого высокого слова) для создателя – это когда разрушают, перечеркивают, уничтожают его творение, потому что убивают его самого.

Мне исполнилось семь лет.

Я не стал скульптором. Теперь я думаю, может в том, что я не стал продолжать свои занятия лепкой, так удачно начатые, сыграло свою роль еще и поразившее меня сознание того, как хрупко и ненадежно то, что требует много труда и сердца, а в итоге может сломаться, рассыпаться, исчезнуть в одну минуту. Я не стал скульптором, но не считаю свою профессию писателя менее достойной, мы все стараемся создавать образ Бога, найти Истину, кто словами, кто посредством глины, кто красками...

Как Бог создал Вселенную, так и писатель, создавая свою собственную вселенную, становится в ней маленьким Создателем, отделяя тьму от света, воду от суши, добро от зла, творя людей по образу и подобию своему, даря им жизни и поступки, любовь и ненависть, слова и веру; и потому творческая личность, писатель во время работы, когда он старается создавать, созидать, гораздо ближе к Богу, чем многие верующие, стоящие на молитве и машинально произносящие одни и те же слова, смысл которых постепенно стирается из

их памяти, из сердца...

Время – середина прошлого века. Дети в те годы развивались медленно, и в отличие от наших дней школа, учителя, родители не старались сделать из семилетних малышей вундеркиндов; я помню, в первом классе чуть ли не пол года мы учились правильно выписывать буквы, рисовали всякие примитивные фигуры, палочки и прочее, что не слишком способствовало стремительному интеллектуальному развитию ребенка, но позволяло ему наслаждаться – насколько возможно – своим детством. И когда на таком всеобщем фоне у меня вдруг прорезалась способность фантазировать и сочинять сказки, которые я охотно рассказывал своим одноклассникам, лукаво стараясь выдать за профессиональные народные сказки, это произвело маленькую сенсацию в школе. А вот мальчик-первоклассник, который сочиняет сказки! У него отличная фантазия! Я стал в некотором роде достопримечательностью школы, на меня оглядывались, сверстники не знали, как ко мне относиться, порой задирали, что моментально заканчивалось дракой, порой поглядывали с недоумением. И то и другое отдаляло меня от моих одноклассников.

В стремление придумать нечто совсем уж фантастическое, недоступное пониманию товарищей, чем мог бы потом гордиться и тайно лелеять неизведанное пока чувство (вот, мол, вы не понимаете, не доросли, а я придумал!) и отдаляться все дальше, будто совершая сладкую месть, оставлявшую горький осадок в мальчишеской душе моей, я часто переги-

бал палку и наговаривал всякую чушь и ахинею с умным и серьезным видом, что сбивало сверстников с толку, и они отходили от меня в растерянности, или же я получал по шее, чтобы не выпендривался: ведь всегда находился кто-то более здравомыслящий среди толпы.

Я оставался одинок и все больше замыкался в своем одиночестве, играя в детские игры в своем воображении, в вечности, но не в конкретном времени.

Лепить я бросил, как-то так получилось, что это увлечение постепенно охладело во мне, сошло на нет, и охваченный новой «способностью», я не очень жалел и не задумывался о потерянном «даре», даже несмотря на несбывшиеся пророчества дяди-художника, которого долгое время после того, как я забыл свое мальчишеское увлечение, я не мог видеть без угрызений совести.

Но тень этого ремесла еще некоторое время преследовала меня, не по моей вине и не потому, что было оно особенно сильным во мне. На нашей улице, в соседнем доме, на первом этаже, окна которого выходили на улицу, где я часто бывал бит, жила девочка. Она училась в нашей школе, на два класса старше меня и была в моем понимании красавицей: русые обильные, всегда красиво уложенные волосы, голубые глаза, прямые черты лица. Мне она очень нравилась. Она занималась лепкой и тоже ходила в дом пионеров, учиться лепить и рисовать, куда недолгое время ходил я.

Я влюбился в неё, как только мог влюбиться семилетний

мальчик, живущий в своих мечтах. Её красота резко отличалась от красоты школьниц-смуглянок, которых и было подавляющее большинство в нашей школе; мне так и казалось, что большинство это было именно подавляющим, и русская девочка, непохожая внешнею на них, была как-то отстранена, одинока, как и я, и не вписывалась в щебечущую стайку девчушек. Но это опять же было плодом моей неумемной фантазии, мешавшей мне и тогда и после, через много лет жить нормальной жизнью и воспринимать жизнь во всех её реалиях. Кстати, и русских, и девочек и мальчиков других национальностей в нашей школе, как и во всем нашем городе, в те годы было немало. Просто мне так мечталось, очень хотелось, чтобы она чувствовала себя одинокой и нуждалась бы в понимании и поддержке со стороны мальчика на два года младше неё, что само по себе было фантастично, потому что третьеклассники, как говорится, в упор не видели нас, первоклашек, особенно девочки из третьих классов, разница в два года была в этом возрасте огромна и как пропасть лежала между нами. Но мечты мои о её отстраненности и одиночестве были тут же, на глазах разбиты вдребезги: она как раз очень дружила со своей одноклассницей – явной её противоположностью по внешности: смуглой дурнушкой, и они обе довольно часто вместе возвращались из школы и что-то лепили из пластилина на подоконнике окна, выходявшего на нашу улицу, где после уроков я околачивался, следя с открытым ртом и горящими глазами за своей возлюбленной,

за каждым её жестом, за тем как она откидывает на спину русую косу, как тыльной стороной испачканной руки чешет нос, как улыбается своей подружке, опустив глаза и что-то смешное – явно в мой адрес – рассказывая, отчего и подружка её начинает с презрительной ухмылкой рассматривать меня, стоящего в двух шагах под окном, как рассматривают насекомое под микроскопом, и потом, рассмотрев хорошенько, обе раздражаются обидным, оскорбительным смехом. Но я все равно был счастлив, что вижу её, что могу наблюдать за её жестами, улыбкой и потом долгое время вспоминать все, что видел. Обычно, когда они нахально разглядывали меня, я отводил глаза, потом улучив момент, когда, казалось, они забыли о моем пребывании под окном, я снова жадно наблюдал за соседской девочкой, а потом наедине даже повторял некоторые её жесты, будто перевоплощаясь в неё, находя в этом непонятное удовольствие.

Однажды, когда я так стоял и наблюдал за ними, в основном, конечно только за ней, за объектом моей любви, девочки пошептавшись, вдруг обе разом высунулись из окна, и моя голубоглазая соседка неожиданно позвала меня:

– Иди сюда, мальчик, поднимайся!

Я сначала даже не понял, не мог поверить, что она зовет меня, что она впервые обратилась ко мне с какими-то словами. Я на всякий случай оглянулся, ища того счастливчика, кого она звала.

– Да, ты, ты! – показывая на меня пальцем, уточнила она,

чтобы я не сомневался. – Иди, заходи к нам.

У меня моментально пересохло в горле, и я ничего не мог сказать в ответ. Но надо было что-то делать, чтобы не выглядеть совершенным малолетним идиотом, и я пересилив охватившую меня робость, на деревянных ногах вошел в маленький, остро пахнувший кошачьей мочой подъезд, споткнулся на двух ступенях и подошел к дверям моей любимой девочки. Дверь была распахнута и на пороге она ждала меня. Она несколько театральным жестом, которым, наверное, обращаются к королям, подчеркнуто издевательски приглашая меня войти, показала в глубь комнаты, на подоконник, уставленный пластилиновыми фигурками.

– Ты, кажется, тоже занимался в кружке лепки? – сказала она.

Я кивнул.

– А разве таких малявок записывают в секции? – спросила её чернявая подруга.

Я кивнул.

– Ну, что? Посмотри. Тебе нравятся наши работы? – спросила она.

Я кивнул.

– Он что, немой? – спросила подруга.

Я машинально кивнул. Девочки рассмеялись.

– Теперь мы будем лепить тебя, – сказала подруга. – Твою роскошную голову. Подставь голову.

Я подставил.

Она не оговори́лась, голова моя и вправду была роскошная, потому что я ненави́дел, когда отец водил меня к парикмахеру и каждый раз это заканчивалось громким скандалом, и чтобы провоцировать подобные скандалы как можно реже, меня редко водили стричься, в результате у меня, в отличие от моих сверстников, отросли длинные волосы, что делало меня совсем непохожим на школьника и еще больше отдаляло от компании однокашников. Но волосы были очень красивые и я гордился ими и часто встряхивал своей шевелюрой, и даже директор школы, пожилая женщина, как-то сделав мне замечание насчет отросших волос, заглядевшись на мою не по возрасту шевелюру, улыбнулась и не стала настаивать, оставила меня в покое.

– Ну-ка, подставь голову, волосатик, – сказала подруга моей соседки, – не стесняйся.

И тут же налепила мне на волосы изрядный кусок теплого от её рук пластилина. Они поочередно кусок за куском налепляли мне на голову пластилин, а я молча, зачарованно следил за своей любимой, за её чудными, прекрасными руками, за её смеющимися глазами, лукаво поглядывавшими на меня. Пластилин слабо, как обычно пах керосином, это был вполне привычный запах для нас в те годы, потому что за углом располагалась керосиновая лавка и наши матери ходили туда почти ежедневно покупать керосин для плиты, на которой готовили обед. Но мне казалось, что прежде всего пластилин на моих волосах источал запах её рук, её

нежных, тонких пальцев; мне легко было обманывать себя – ведь любовь во все времена и во всех возрастах видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать... Сейчас бы я сказал, что руки у неё были слишком большие и грубые для её возраста: руки её отца-пролетария и матери, работавшей в общепитовской столовой, но тогда она казалась мне феей... Слезы обиды душили меня, но я не сопротивлялся, думая, что доставляю удовольствие девочке, а за одно это – что пластилин в волосах! – мне казалось, я мог бы отдать свою маленькую, только начатую жизнь.

Последовал грандиозный скандал. Дома, стараясь избавиться от пластилина в отросших волосах – что оказалось вовсе не легко и вообще мне не по силам – я не издал ни звука даже тогда, когда к этому мучительному процессу подключилась мама, одновременно пытая меня с пристрастием (многочисленные подзатыльники) и угрожая всю неделю не выпускать из дома после уроков, если не признаюсь, кто это со мной сделал. Но тут я был тверд, хоть слезы боли и обиды текли по щекам. Я упорно и тупо повторял, что сделал это я сам, понимая, что ни один нормальный человек такому не поверит. До конца и мама не справилась, и куски пластилина оставались на голове, превратив мои красивые волосы в какие-то жуткие веревки, и потому за дело, вернувшись с работы, взялся отец – он попросту сводил меня к парикмахеру и тот, не долго думая, обрил мне голову наголо, хотя до лета, когда брили головы мальчишкам нашей улицы остава-

лось еще немало. И тут я вновь стал непохож на остальных, но теперь уже гордиться мне было нечем. В школе каким-то образом узнали про пластилин, что налепливали мне на голову девочки (думаю, что чернявая подруга моей голубоглазой соседки постаралась) и некоторое время надо мной жестоко издевались. Я бросался в драку с обидчиками, но понимал, что они, наверное, вправе потешаться надо мной, потому что повел я себя тогда, надо признать, как настоящий олух. Однако чувство не сразу остыло во мне, и еще некоторое время после этого я продолжал любить девочку, что лепила из пластилина на подоконнике, видел её фрагментарно во сне (рука, пальцы, мнущие пластилин, насмешливый взгляд, завитки красивых волос, о мои утраченные волосы!). Я был влюбчив, необщителен, угрюм и не любил разговаривать без особой необходимости. Разве что, за исключением тех случаев, когда вешал лапшу своим одноклассникам, придумывая сказки и нахально выдавая их за «настоящие». Однако в дальнейшем эти фантазии обретут надолго свое нетерпеливо ожидающее их русло и потекут уже не столь неряшливо и размашисто, щедро теряя по пути первоначальную энергию, полученную от честолюбивого пинка, но потекут подчиняясь законам профессии, проклятым и нерушимым.

Клякса – полузабытое слово, очень актуальное в то время особенно среди учеников начальных классов, натерпевшихся из-за своей беспечной неосторожности со стальным пером и чернильницей, которую малыши приносили с собой,

полную темно-фиолетовых чернил в специально сшитых мамами мешочках. Клякса...

Учиться в школе было совсем не трудно, и надо было очень постараться, чтобы получить плохую оценку, высшие балы сыпались на нас как манна небесная, и до шестого класса я был отличником в классе, как и многие другие. Теперь, когда я смотрю на своих внуков, стараюсь помочь внучке в первом классе готовить уроки, мне кажется, что тот далекий я, что был много лет назад её ровесником, попросту учился в школе для слаборазвитых детей. Время, конечно, стремительно шагнуло вперед, скакнуло, я бы сказал, но все же мне жаль порой, что лучшие детские годы малышей уходят на приобретение знаний, многие из которых им мало пригодятся в жизни.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец купил маленькую дачу, и двенадцатое лето своей жизни я провел на нашей новой даче. Она была далеко от моря, надо было ехать на электричке две остановки и выходить на станции «Приморская», прямо напротив пляжа; езда порой отнимала немало времени, потому что электропоезда ходили неаккуратно, подолгу стояли на станции, непонятно, чего ожидая (говорили: «ждет встречного»), но мне все равно было непонятно, зачем так долго надо ждать встречного поезда, а папа объяснял – чтобы поезда не столкнулись на линии, но все равно такое объяснение меня не удовлетворяло, хотелось поскорее оказаться на пляже и не жариться под раска-

ленной крышей в вагоне) я был нетерпеливым, как многие мальчишки, но море, о котором я мечтал, чтобы можно было каждый летний день проводить возле него, в нем, на его берегу (и не так часто за двенадцать лет представлялась такая возможность, разве что ездили в гости к тете, к моим двоюродным братьям, дача которых находилась совсем близко – минут пять пешком – от моря), теперь вознаградило все мои ожидания: у нас, наконец-то, была своя дача и, наконец-то, если и не каждый день, то достаточно часто можно было ездить на пляж, к морю, и не надо было для этого гостить у родственников, что мне не очень-то нравилось, все-таки, я полностью должен был ощущать себя как дома, хотя даже там, благодаря родителям у меня не было полной свободы, а больше всего на свете я ценил свободу, с малых лет и до сих дней, когда пишу эти строки.

– Свободен! – закричал путешественник, попав на необитаемый остров.

– Свободен! – радостно произнес старый зэк, возвратившись за очередное преступление обратно в зону, где провел почти всю жизнь.

– Свободен! – завопил мужчина, разведясь с женой.

У каждого свое понятие свободы, у каждого она своя, свобода, и что бы ни говорили, достигнув её, своей давно лелеемой цели, человек становится временно счастлив. А это немало.

Лето проходило на даче, можно было ездить на море го-

раздо чаще, чем раньше, когда у нас не было дачи, но я был не дачный человек, мне не нравилось ходить по горячему песку босиком, мне нравилось ходить по улицам в туфлях и чтобы туфли эти поскрипывали, а каблуки постукивали; дачные новшества очень скоро начали угнетать меня, видимо, потому еще, что на даче я не мог полностью уходить в себя, в свой мир, как в городской квартире, когда меня оставляли в покое, на даче многое отвлекало, многое надо было делать по указке взрослых (вскопай грядку, полей кусты роз, полезь на дерево, нарви абрикосов, потряси тутовник, набери в простыню, и прочее, прочее) и реальность была ярче и нахально лезла в глаза, мешая уходить в мечтания, порой совершенно нелепые, оторванные от реальной жизни, так что, исподтишка, незаметно наблюдая, как я говорю сам с собой, размахивая руками, уйдя в свои непонятные игры и ничего вокруг не замечая, отец находился в полной уверенности, что из сына вырастет настоящий ротозей и олух.

Мне было тринадцать лет, когда на день рождения отец купил мне велосипед. Это не было сюрпризом ко дню рождения, до этого мы с ним несколько дней после работы отца ходили по спортивным магазинам и выбирали, я любовался, примерялся, восхищался; выбор меня несколько озадачил, я думал, что как и многие другие товары в то время, не баловавшие покупателей разнообразием, велосипед также должен быть одной марки во всех магазинах спортивных товаров. Но оказалось, что было несколько видов, и я растерял-

ся, потому что все эти несколько видов мне очень нравились, но наконец, я остановил свой выбор на одном – велосипеде «Турист». Я сам тряпкой, что дал мне продавец, протер спицы, избавив их от смазочного масла и заставив блестеть на солнце, накачал шины, смахнул пыль с сидения, похожего на морду гончей собаки, держась за изогнутый руль, вывел его из магазина (на волю, на волю, велосипед!), погладил, как живое существо, сел в седло и покатил по полупустой улице, позабыв, что со мной отец, позабыв все на свете от охватившего меня острого чувства счастья. Я еще не до конца верил своему счастью, не верил, что велосипед, на котором я сижу, педали которого вращаю, красиво изогнутый руль сжимаю вспотевшими ладонями – мой, мой и я могу кататься на нем, когда пожелаю, ни у кого не спрашивая разрешения. До этого я катался на велосипеде, у нас на улице был у одного мальчика велосипед, и время от времени, когда у него было хорошее настроение, он давал покататься другим, в том числе и мне; но чаще давал он велосипед небескорыстно – молодому долговязому мороженщику, который привозил мороженое в тележке на громыхающих по булыжной мостовой подшипниках, а за прокат платил товаром, то есть – мороженым. Вот такой был практичный мальчик, хозяин велосипеда. Так что кое-какой опыт езды на большом велосипеде у меня был. Но отец этого не знал и встревожено, но молча махал мне рукой, чтобы я вернулся.

Я стал ездить на пляж с дачи на велосипеде. Конечно ро-

дители, в первую очередь мама, возражали, опасаясь аварий (какие аварии, полторы машины на улице, тем более на сельских улицах), в которые я мог бы попасть, различных инцидентов, все-таки, я был всего лишь тринадцатилетним подростком. Но какое это было удовольствие! Я до сих пор отчетливо помню острое чувство счастья, что уколами вонзалось в мое обливающееся горячими волнами радости сердце, когда крепко держась за изогнутый руль велосипеда, я, согнувшись пополам, нажимал на педали, наращивая скорость, воображая, что участвую в велотреке и одного за другим обгоняю велогонщиков, любовался стремительно пролетающими внизу серебристыми спицами, сливающимися в один сплошной круг, слышал приятный шорох хорошо накаченных шин по земле, и горячий июльский ветер бил мне в лицо, на котором блуждала рассеянная улыбка...

Эти редкие островки радости, настоящей радости, когда чувствовал себя счастливым на короткое время, как и островки печали, живут с человеком всю жизнь, особенно если это островки далекого детства. Потом жизнь взрослого человека вносит свои коррективы, жизнь становится скучнее, все меньше светлых островков, все больше темных, мрачных, все больше проблем, жизнь сталкивает нас с такими людьми, которых и людьми назвать затрудняешься, и когда хочешь разбудить в них давние воспоминания, они недоуменно смотрят на тебя, или же вспоминают сюжет, но никак не чувства, которые давно в них омертвели...

Но это потом, потом, все это еще предстоит, а пока, как говорится, безмятежное детство, и такая же юность. Хотя, как можно назвать безмятежной пору, полную тревог и волнений... Многим кажется, что детство и отрочество их прошли вполне спокойно, без каких либо проблем и тревожных волнений. Что ж, бывает и такое, но если глубже вникнуть и вспомнить детские годы, то у каждого найдутся тайные страхи, жуткие сны, будившие среди ночи и многое, многое другое, что вдруг вспоминаясь, тревожило посреди детских игр...

Мальчуган был весьма впечатлительным, и то, что оставляло впечатление – независимо: позитивное или негативное – оставалось с ним надолго, так что вынуждены были вмешиваться родители. Вмешивалась, обычно, мама.

Однажды она свела меня к женщине, которая, как утверждали, снимала порчу, устраняла последствия испуга, снимала сглаз, в общем, завоевала популярность всякими такими делами, которые в те годы занимали умы многих женщин – домохозяек. И как ни странно, до сих пор занимают, и не только домохозяек.

Теперь я часто замечаю – далекие детские страхи и кошмарные сны находят свое отражение в моей работе сегодня, в моих книгах, они как притаившиеся скорпионы, ждут удобного момента, подходящего произведения, чтобы выпустить жала и поразить вполне нормального персонажа, который вдруг по ему самому непонятным (а тем более мне, автору) причинам перевоплощается в монстра, внутренне, конечно,

не внешне, но, превратившись в чудовище, начинает незаметно пожирать себе подобных, ограничивает свободу окружающих, не дает жить, не дает дышать. Подобные кошмарные явления встречаются в жизни, это естественно, потому что жизнь полна такими сюжетами, что трудно вообразить, многими непостижимыми поступками и действиями людскими; но перейдя в мои рассказы, придя из далекого детства, страхи которого еще не полностью покинули меня, они поглощают частички моей души; что поделать – мы живем среди них, и не показывать их означало бы отворачиваться от жизни, где есть место всему: и жуткому и радостному.

Так вот, посчитав меня слишком нервным и эмоциональным и прислушавшись к мнениям сердобольных соседок, мама решила повести меня к женщине – сейчас её скорее всего назвали бы экстрасенсом – снимавшей испуг, потому что мама считала, что именно после какого-то жутковатого сна, я стал таким взвинченным, пугливым, склонным к легким депрессиям. Кстати, слово депрессия в те годы не было в ходу, оно еще не вошло в моду, и говорили просто: у него нет настроения, или – что-то он в последнее время слишком невеселый.

Городской трамвай, неизвестно каким образом застрявший среди огромной заснеженной степи далеко от города, и никто не может вразумительно объяснить главному герою, как они очутились тут, неподалеку от леса, где обитают волки-людоеды и куда, как в кошмарном сне, обязательно сле-

дует отправиться на верную смерть, чтобы – если удастся – выжить. Старушка-колдунья величиной с палец, завернутая в носовой платок внучки, такой же гарпии, вдруг вырастающая до обычных человеческих размеров и лишаящая воли героя рассказа. Прохожий, заблудившийся на знакомых улицах в зимней ночи, встретивший на беду свою нескольких похожих как близнецы убийц, тихо преследующих его. Дом, заселенный невменяемыми, оторванными от реальной жизни, куда привез главного героя поезд летящий в ад. Все это и многое другое, не очень понятное обычному читателю-обывателю, при здравом размышлении имело свое начало много лет назад, еще в детских снах, от которых я просыпался в холодном поту.

Я воображал старую каргу с крючковатым носом – трафаретный портрет колдуний, но оказалось женщина, к которой мы пришли с мамой очень добродушная, улыбчивая, говорливая особа, сразу же начавшая с того, что стала потчевать нас чаем с вишневым вареньем собственного изготовления. Она то и дело гладила меня по голове, приговаривала что-то ласковое, будто, успокаивала, готовя к чему-то страшному, усыпляла мою настороженность. Я, склонный в эту минуту все видеть в черном свете, так и понял её обхаживания, и еще больше испугался перед предстоящим, еще не зная чем. Женщина, не переставая улыбаться, уложила меня на продавленный диван, накрыла белой, свежо пахнувшей простыней, через которую я смутно видел фигуру мамы, сидевшую

за столом; сыпала на простыню кусочки ваты и что-то мурлыча, непонятно кому адресованное, неожиданно подожгла вату на простыне. Огонь быстро пробежал по кресту из ваты. Я вздрогнул и кажется, закричал от испуга.

Как ни странно (теперь, с позиции взрослого человека, привыкшего снисходительно относиться ко всякого рода гадалкам и ворожеям) колдунья... – я так её прозвал, когда узнал, что мы с мамой отправляемся избавлять меня от последствий испуга, «не называй её так, не то она может обидеться, – предупреждала меня мама, – какая она колдунья, это просто одна очень добрая женщина, которая помогает людям» – излечила меня, и частые по ночам крики во сне (когда я просыпался в холодном поту и не помнил, что мне снилось, потому что ужас во сне был расплывчатый, не конкретный, рожденный из тумана; была атмосфера надвигавшегося, как темная лавина, ужаса, которую нельзя было описать и объяснить другим), прекратились, так же как мои детские кратковременные беспричинные истерики, ненормальные приступы длительного молчания – я будто прислушивался к себе в тревожном ожидании чего-то, что должно было с минуты на минуту обрушиться на меня – все это прекратилось к великой радости мамы и она всем соседкам рассказала о чудодейственных способностях «колдуньи».

Сейчас, когда прошло много лет с детства, порой так хочется, чтобы проблемы, неприятности, невзгоды в моей жизни решались бы так же легко, чтобы чья-то добрая рука

мгновенным испугом, как вспышкой избавила меня от всякой нечисти, страхов, ужасов, что несет с собой жизнь среди ненастоящих людей. Я стараюсь избегать контактов с такими людьми, стараюсь прятаться в работе, но жизнь, обстоятельства каждый раз вытаскивают меня на свет божий, встряхивают и бросают в ненавистную среду.

Вспоминаю слова Кафки: «Зачем вы делаете вид, что вы настоящие?..»

Вот сейчас, чуть ли не последние лет сто, в литературе стало немодным и отжившим начинать произведение с описания природы, как раньше начинали свои романы классики. Что ж, это можно понять – ведь современный человек так отделился от природы, что даже стал активно уничтожать её, как злейшего врага. Но природа – наше детство, именно в ту пору мы были как никогда близки к природе, убивать природу – значит убивать, стирать из памяти наши детские годы.

Первые мои рассказы, кстати, о детстве, что вполне понятно, оно, мое детство в то время было не так далеко от меня, двадцатилетнего студента, и я написал небольшую книжку воспоминаний своих детских лет, которая так и называлась «Картинки из детства». В дальнейшем детские годы различными эпизодами вторгались в абсолютно не детские мои книги, но вторгались и сидели там прочно, как у себя дома, потому что воспоминания детских лет и остаются с человеком до самого конца, особенно с творческим человеком, и он время от времени возвращается в эти свои относительно

беззаботные годы, и не потому что они были беззаботны и безоблачны, а потому, что в то время острее и ярче воспринималась жизнь.

Я помню великолепного художника Расима Бабаева, который взялся оформлять мою первую книжку, несмотря на то, что в то время я был еще никому неизвестный молодой писатель, а он – знаменитый художник, выставившийся в Европе, и разница в годах у нас была большая, потому и не могу похвастаться, что дружил с ним, но я был горд, что этот именитый, талантливейший художник заинтересовался моими первыми рассказами и оформлял книжку; думаю, ему они понравились потому, что были искренние, он и сам был искренним, добрым человеком и очень цельной личностью.

Эта книжка писалась в Литературном институте, по вечерам, в комнате общежития Литературного, о котором я вспоминаю с большой теплотой, и потому, бывая в Москве, я никогда не захожу в свой родной институт, чтобы не разочароваться; я знаю – и в моей alma mater за сорок лет произошли большие изменения, как и во многих городах бывшей и распавшейся страны, где приходилось бывать. О Литинституте я тоже написал книжку, она называется «Оглянись назад без грусти» и несколько сентиментальна, что видно из названия, и это произведение не является одним из моих любимых, но, тем не менее, оно написано, и написано, как говорится, по горячим следам, почти сразу после окончания института и возвращения домой, в Баку. Видимо, подсознательно я по-

нимал, а вернее – чувствовал, что пройдут годы, и я не смогу с той же достоверностью и реальностью воскресить время, проведенное в стенах Литературного, всех моих друзей из разных концов тогдашней огромной страны, всех женщин, которых я любил и все интересные события, через которые я тогда прошел. Но чувство любви к тем студенческим дням становится с годами все острее и я по-настоящему испытываю ностальгию по прошлому, когда вспоминаю свою жизнь в том московском вузе, чего не могу сказать о годах, проведенных в Политехническом институте в своем городе.

Впечатление от первой публикации было ошеломляющим – я держал в руках газету и не мог поверить, что это мое имя набрано жирным шрифтом на газетной странице; правда, это была не проза, которой я в дальнейшем стал профессионально заниматься, а какая-то статья или очерк, я теперь не помню, но помню отчетливо то чувство которое испытал, как страшно забилося сердце, готовое выскочить из груди, как я гордо поглядывал вокруг, думая, что уже все с интересом смотрят на меня, что миллионы читателей, прочитав эту статью, которую я нещадно, без всякой меры загрузил образами (многое, кстати, в редакции вполне справедливо убрали, но пока, держа газету в руках и уставившись на свою фамилию, я об этом не подозревал), станут узнавать меня на улицах, показывать на меня, перешептываться, кивая друг другу на меня, ставшего в одночасье знаменитым... Первая публикация в чем-то была для меня сродни первой любви, первой

женщине (не оставившей, впрочем, ничего, кроме смутных воспоминаний о себе, я о женщине), это чувство я помню очень ярко, будто вчера произошло, хотя прошло много лет, и я тогда был очень молод. Но потом вторглась суровая проза жизни и в редакции мне сделали ряд серьезных замечаний по поводу статьи, что смазало первоначальные впечатления от публикации, но помогло мне в дальнейшем писать более сжато, не удаляясь от сути материала. Это была хорошая школа, хотя пребывал я в ней недолго, я не собирался стать газетчиком; я пока еще смутно чувствовал, что ожидает меня нечто больше, чем карьера газетного репортера – я много читал и восхищался писателями, которым удалось создать свой такой потрясающе интересный мир, где после прочтения я еще долго жил, домысливая судьбы героев, продолжая сюжет, и мне хотелось самому попытаться создать нечто подобное, свой мир.

Радость от первого гонорара, что я получил за ту же статью, была гораздо слабее: мне важнее было признание, чем деньги, что, наверное, предопределило всю мою дальнейшую судьбу – деньги по возможности стали избегать меня (это не означает, что я вовсе не умел зарабатывать, но то, что другим плыло в руки, мне приходилось добывать с трудом, кровью и потом), а известность постепенно приходила, и в один прекрасный день, как говорится, я проснулся знаменитым: одна из первых моих книжек, принесла мне широкую известность, но и много неприятностей и головной боли. Книга

можно сказать, чудом вышла из печати, потому что цензура довлела над всем и вся в искусстве, а в моем произведении было много крамольного по понятиям того времени. Потому и стало это произведение широко известным и книжку передавали из рук в руки. У меня сегодня не сохранилось ни одного экземпляра, но я помню, в те годы я видел множество этих книг, потрепанных до невозможности; я знал немало случаев, когда читатели, число которых, к сожалению, сейчас уменьшилось раз в сто, отдавали книжку, изданную в мягкой обложке в переплет, чтобы сохранить её подольше. Все это радовало и как-то компенсировало то, что со стороны власть предержащих это мое произведение было принято сухо, чтобы не сказать – в штыки, хотя так оно и было; но до сих пор, когда совершенно незнакомые люди останавливают меня на улице и спрашивают про ту книгу, вышедшую почти сорок лет назад, я испытываю двойственное чувство: с одной стороны мне приятно сознавать, что такое давнее мое произведение до сих пор пользуется успехом, с другой – меня удивляет и огорчает, что написанные после той, нашумевшей книги, произведения, которые я считаю гораздо более удавшимися и интересными, мало кто вспоминает. Видимо, уровень моего читателя застыл на том произведении и не хочет подниматься выше, не желает замечать всего остального (как же ему замечать, если чтение книг в жизни многих отодвинулось так далеко, что стало почти несерьезным занятием?). Когда я работал над этой книгой, а писал я

её, если можно так сказать, запоем, помню, двое суток почти не вставал из-за стола. И никакой писательской дисциплины, никакого определенного количества строк... В те годы в нашу жизнь еще не пришли компьютеры, и я писал ручкой на листах бумаги, а потом, когда сам, как первый читатель и первый редактор одобрял написанное, начинал печатать на машинке. У меня была машинка «Эрика», я любил на ней работать, кажется, и она любила работать со мной, потому что иные вещи печатала быстрее, чем профессиональная машинистка, с моей помощью, конечно. Так вот, когда я писал эту вещь и впоследствии многие мои произведения, я подолгу не мог выйти из-за письменного стола, вплоть до того, что, бывало, чуть не терял сознание и, поднявшись, не мог разогнуть спину. Но надо было ловить мысли, они, вовремя не зафиксированные, не превращенные в слова, не пригвожденные к бумаге, могли исчезнуть и исчезали, правда, позже возвращались, но уже в другой форме, уже не такие пронзительные, что поразили меня; и я с ума сходил, чтобы восстановить эти мысли и ощущения в первоизданном виде; но ловить такие тонкие чувства, что шквалом иногда обрушиваются на тебя во время работы, было зачастую делом физически невыполнимым – рука не успевала записывать, и чувства, ощущения, мысли пролетали, пролетали и оставалось только кусать себе локти, провожая их взглядом. Наговаривай на диктофон, советовали мне друзья. Но такая манера работы мне не нравилась, я внутренне ощущал себя репор-

тером и боюсь, мысли в таком случае могли бы приходить ко мне репортерские, а не писательские... Так что, оставалось только работать, как в лихорадке, потому и невозможно было вставать из-за письменного стола; хотя в такой манере работы было мало нажитого профессионализма, когда писатель педантично, аккуратно записывает определенное количество слов и трудится определенное количество часов, самим отведенных на работу. Я редко умел так работать. Все у меня было лихорадочно, все в спешке, все в страхе не успеть, в лихорадочном нетерпении. Но с другой стороны – это же было огромное счастье, когда так работалось. Потому что была и обратная сторона этого тяжелого труда – когда вовсе не работалось, когда появлялись большие, тревожившие паузы в работе, которые я очень остро переживал – ведь родник не вечен, его можно исчерпать, что я со страхом наблюдал у некоторых знакомых хороших писателей.

Мысли – радость, стиль – мученье.

Жизнь и профессия научили меня многому, но только не терпению. Терпение у меня осталось примерно таким же как в детстве. Я постоянно боюсь опоздать – опоздать с работой, опоздать на мероприятия, в гости, боюсь, что без меня может произойти нечто важное, и я могу это важное упустить: вследствие чего я всегда прихожу до назначенного времени, заканчиваю работу раньше обговоренного срока, просыпаюсь на пять минут раньше звонка будильника, и среди гостей бываю одним из первых. Всю мою жизнь нетерпение меня

подводило, всегда я чего-то лишался из-за того, что поторопился, что-то проплывало мимо меня. Порой я много, лихорадочно работал, но потом, закончив, я начинал думать, что если бы я работал не так поспешно, я мог бы получать массу удовольствия от своей работы, потому что я её люблю. Но мысли... как тут не торопиться? Процесс в какой-то мере сродни сексу: когда торопишься, ты не можешь полностью насладиться процессом и потом начинаешь жалеть, что все так быстро закончилось. И главное – когда торопишься достичь цели, то многое в жизни пролетает мимо тебя незамеченным, или мало замеченным, будто ты в купе скорого поезда и мимо тебя стремительно – так что не запоминаются как следует – проносятся интересные картинки, которые ты мог бы использовать в сценарии, если бы достаточно внимательно разглядел их, или попросту мог бы вспоминать их, возвращаясь к тем дням, когда ехал в вагоне поезда и мимо тебя... Целеустремленные люди в какой-то степени ограниченные, обкрадывающие самих себя. Правда, упущенное в жизни компенсируется фантазией, и, как правило, люди с буйной, необузданной фантазией не очень внимательны к внешнему миру. Нет, я никогда не был дисциплинированным писателем... или «никогда» слишком сильно сказано? Временами я старался писать запланировано, по столько то строк в день, но меня хватало ненадолго, и вновь дрожь и спешка охватывали меня, я включался в спринтерский бег, выбивался из сил работая и всегда завидовал писа-

телям, которые умеют спокойно планомерно трудиться получая от своего труда истинное наслаждение... А я... я летел в вагоне скорого поезда, и мимо меня... Много в жизни пролетело мимо меня. Но таков уж мой характер – я спешу, а исправлять характер мне лень, потому что это очень хлопотное и нелегкое дело.

Профессия меня научила – как могла – работать над крупной вещью изо дня в день, я научился обрывать написанное на интересном месте, порой, не дописав фразы, чтобы завтра мне было с чего начать и было бы интересно работать. Когда не знаешь сюжета целиком, это очень важно. А сюжет целиком в прозе лучше не знать, это не сценарий, когда автор должен точно знать, чем закончит, как пойдет по заранее намеченному сюжету, где будут кульминации, где следует дать зрителю передохнуть, где вытащить зрителя из комнаты, в которой он уже может задохнуться, на натуру, и главное – с чего начать, чтобы зритель не убежал бы из зала в первые три минуты. Сценарий – искусство конструктивное. Перед сценаристом должен быть заранее составленный им сценарный план, «скелетто», как его называют киношники, который в процессе работы обрастает плотью. В прозе начало произведения тоже очень важно, необходимо втянуть с первой же страницы читателя, заинтересовать его, чтобы он не захлопнул книгу после первой же страницы (осторожнее! Слова перемешаются!), а напротив, с нарастающим интересом читал книгу, но в отличие от сценария, в прозе автор не обязатель-

но должен знать финал, потому что желательно, чтобы для него оставалось загадкой, тайной то, что он пишет. Что откроют последующие строки, страницы? Вот что важно и что делает работу автора настоящим непостижимым искусством, которое нельзя вскрыть и показать, как устроен внутренний механизм, потому что при вскрытие прольется кровь.

После визита к женщине снимавшей испуг, я на самом деле несколько поуспокоился и жизнь моя, маленькая семилетняя жизнь снова начала входить в свое мальчишеское русло. В детстве я многим увлекался, и лепка была одним из увлечений, которое скоро прошло, но не прошла и осталась на всю жизнь моя любовь к картинам и скульптуре, я обожал и мог часами смотреть на картины известных художников, мало что понимая в живописи, но отзываясь душой на красоту, отображенную в полотнах. Потом я стал увлекаться спортом, в двенадцать лет я стал посещать юношескую секцию бокса в спортивном обществе «Динамо», пока мне на ринге не сломали нос. На этом мое увлечение боксом закончилось, а нос остался кривым. Это вообще отдалило меня от спорта, но зато еще больше приблизило к искусству, где носы не ломают, но могут сломать судьбу.

Я боюсь, когда работа находит меня, настигает. Я ношу в себе идею, ношу, обдумываю со всех сторон, переворачиваю, перекаत्याю её так и этак, развиваю в сюжет, и нако-

нец, все это мне так надоедает, что остается только выплеснуть её на бумагу, на экран монитора и избавиться от нее, потому что на начальном этапе работы, когда обдумываю, я буквально заболеваю и как больной человек, которому врач прописал домашний режим, стараюсь не выходить из дому, а если и выхожу, то почти ничего не замечаю вокруг, охваченный своей новой идеей, доводя её до окончательного вида, в каком она должна быть, облеченная в слова. И вследствие моего ненормального для окружающих поведения, на меня многие обижаются, когда я на улице не замечаю знакомых и не отвечаю на приветствия. Потому – и не только по этой причине (кому же хочется заболеть?) – я боюсь начинать работу, особенно большую работу, но... ничего не поделаешь, она, эта работа находит меня, настигает... Бывают и творческие застои в работе, кризис, паузы, я тяжело их переживаю, особенно если паузы эти затяжные, жизнь становится пустой, неинтересной, как будто произошла большая потеря и ты ни о чем другом не можешь думать и не можешь жить полноценно. Творческие застои – это сама по себе большая тема в литературе, в искусстве, но, боюсь, что интересна и понятна она только творческим людям, это как говорится, не кассовая идея, не для масс, что конечно, сужает круг, как сейчас модно говорить, потребителей.

Несколько раз в моей практике со мной случалось такое: не зная меня, случайный читатель начинал пересказывать мне содержание моей книги и завершал свой рассказ при-

мерно так: «Не помню, кто написал, но вещь мировая!». Я благодарен судьбе за эти немногочисленные случаи и бывал очень рад слышать эту завершающую фразу от читателя, потому что это и есть главное в литературе, когда не помня автора, помнят книгу – неважно, кто автор, важно, что вещь запомнилась, что со временем к этой книге хочется вернуться.

Иногда я испытываю такую сильную душевную усталость, что мне кажется от неё недалеко до душевной болезни, и уж совсем близко до депрессии. В такие минуты мне даже не хочется поблагодарить кого-то, кто сделал для меня доброе дело и, естественно, как минимум ждет благодарности, но мне тяжело говорить, тяжело набрать номер режиссера, который снял про меня фильм и его только что показывали по телевизору, тяжело позвонить издателю и сказать элементарное спасибо за издание новой книги, которую я с нетерпением ждал, а теперь... Многие это воспринимают, как высокомерие, вот, мол, он считает, что мы обязаны ему, должны делать ему добрые дела, а он даже спасибо не скажет... Но это не так, порой язык не поворачивается, не хочется говорить, не хочется общаться даже с близкими друзьями, которых у меня как у любого нормального человека совсем немного, и которых я люблю, мнение которых уважаю и прислушиваюсь к нему. Хочется крикнуть: «Я не такой, вы еще плохо меня знаете!» Но кричать тем более не хочется, если уж говорить трудно...

Я люблю бесцельно гулять по улицам, всматриваться в лица прохожих, иногда я так пристально разглядываю их лица, что они сердито оглядываются на меня, или недоуменно, или внимательно в свою очередь смотрят на меня, словно хотят вспомнить, знакомы ли мы. Я придумываю им судьбы в зависимости от внешности, от выражения лиц, от их одежды, жестов, домысливаю их жизни, и мне очень интересно – угадал ли я? Но не станешь же спрашивать у незнакомого человека, правда ли, что он работает портным, или слесарем, или преподавателем в школе, что недоволен своей зарплатой и детьми, или напротив – хорошо зарабатывает и послал сына учиться в Лондон, а дочь певица и поет на свадьбах, чем очень гордится, а жена во время секса после тридцати лет супружества, прикрыв глаза, представляет на месте мужа его друга.

Школьные годы оставили, конечно, в моей памяти отпечаток, и надо сказать, не очень позитивный отпечаток. До двенадцати лет я был, помню, совершенно бесстрашным, безрассудно бесстрашным и бросался в драку со старшеклассниками по любому поводу, потом это качество, из-за которого меня не раз собирались выгнать из школы, пошло на убыль, но даже будучи бесстрашным, я боялся одного – высоты, видимо у меня была высотобоязнь, как болезнь, потому что даже на балкон второго этажа мне выходить было страшновато, кружилась голова – как раз до моих трина-

дцати – нет, четырнадцать – лет мы жили в квартире одноэтажного старого дома. Ребята в школе, догадавшись о моей слабости, которую я по возможности всячески старался скрывать, стали дразнить меня: дети в таком возрасте бывают очень жестоки и не признают никаких слабостей, любая слабость товарища для них, да и для меня тоже, была поводом для грубых насмешек. И вот однажды, во дворе школы, где наружная железная лестница вела на крышу третьего этажа, мальчишки моего класса затеяли соревнование – кто залезет на крышу по этой шаткой, ненадежной лестнице и слезет, естественно, вниз. Надо сказать, что эта затея была еще опасна сама по себе тем, что залезать на крышу было строжайше запрещено руководством школы и за этот проступок могло грозить серьезное наказание, соответственно фантазии того же руководства. Но детей было не остановить, и уже двое по очереди полезли на крышу, плюнули вниз, желая продемонстрировать, какое это плевое дело, и слезли обратно, став ненадолго героями среди толпы подростков. Я только хотел тихонько, незаметно улизнуть, когда кто-то схватил меня за локоть и, явно зная о моей слабости, стал при всех громко подначивать:

– Ну, теперь твоя очередь, ты же ничего не боишься, докажи.

– Да он боится, посмотри, побледнел даже, – тут же охотно ввязался второй мальчик.

– О! Он трус, трус! – подхватил третий.

Да, моя необщительность и склонность к одиночеству давали свои плоды, меня не очень любили и жаловали. Но ситуация была безнадежной, теперь, как бы я ни трусил, надо было доказывать, что я могу не хуже двух первых мальчишек полезть на крышу и плюнуть сверху на весь мир. Во мне все тряслось, я на самом деле видимо был бледен, потому что многие со злорадными усмешками следили за моей реакцией. Мелькнула мысль броситься на обидчиков с кулаками, но это не было решением проблемы, и я в их глазах, в глазах мальчиков всего класса мог оставаться трусом, и с этим потом надо было жить до конца школы, но главное, что я мог упасть в своих глазах, я бы потерял уважение к себе, и это мучило бы меня долгое время, как ни старайся впоследствии наверстать упущенное и неоднократно доказывать себе, что ты нормальный мальчик без всяких комплексов. Все эти мысли, если и не так конкретно, зато моментально пронеслись в голове у меня, скорее я это почувствовал и мне понастоящему стало страшно, когда я осознал и предугадал последствия своего действия, точнее – бездействия. Я на ватных ногах, под смешки и подзадоривания одноклассников, подошел к лестнице, до которой еще надо было допрыгнуть, чтобы ухватиться за нижнюю поперечную планку, и помирая со страху, схватившись за холодную железку... тут как раз пошел дождь, мелкий противный дождичек... подтянулся, стал ногами на нижнюю поперечину и стал медленно ползти на крышу, стараясь не смотреть вниз, где ребята вовсю весе-

лились, видя мою нерешительность и страх.

– Побыстрее! – крикнул снизу один из них, – Перемена кончается.

– Главное – не обосрись!

– Ха-ха-ха!

Я постарался лезть быстрее, сердце мое бешено колотилось, готовое выскочить изо рта, я не мог перевести дыхания, и, наконец, под усиливающимся дождем достиг крыши, переполз на неё, покрытую киром, безбожно пачкая рубашку и брюки, и некоторое время оставался лежать, переводя дыхание и слушая, как сердце колотится о крышу школы. Теперь надо было слезать обратно, и это оказалось еще труднее, потому что я по-прежнему старался не смотреть вниз, но и без того у меня кружилась голова, а на крыше меня вдруг стошнило, но очень удачно – прямо на रहेющую кучку оставшихся внизу «болельщиков», которые с ругательствами брызнули в разные стороны. Во мне даже не успело проснуться злорадное чувство, мне было не до того, предстояло слезать. Я, стоя на крыше под дождем, слышал, как прозвенел звонок на урок, видел, как мальчики разбежались. Я стоял, дрожал от страха и не знал, что делать. Спуститься одному вниз мне казалось самоубийством. Одним словом, был страшный скандал, вышла из своего кабинета директриса, грозя мне всякими страшными карами, во что я не мог никак вникнуть, и наивно требуя, чтобы я «Сейчас же спустился вниз и убирался из школы за родителями!». На-

конец, догадавшись, что я лучше останусь жить на крыше, чем спущусь, ко мне наверх полез учитель физкультуры и помог мне, чуть не терявшему сознание, спуститься. В очередной раз меня выгоняли из школы, но и в очередной раз не выгнали. А железную лестницу вскоре укоротили, чтобы без приставной лестницы, хранившейся в мастерской учителя по труду, на нее никто бы не мог забраться.

Позже, в тот же день, на следующей перемене, когда я, горя желанием отомстить, устроил погоню за своими врагами, спровоцировавшими меня полезть на крышу, я, настигая одного из мальчиков, влетел в железную решетку ограды и неудачно вскинул головой, так что, острие решетки впилося мне прямо в темя и кровь хлынула из головы так, что дети в школьном дворе закричали от ужаса и кто-то более догадливый бросился за школьным врачом. В кабинете врача, куда те же одноклассники помогли мне добраться, я потерял сознание. Да, этот день был полон событий. Меня привели в чувство, сделали укол, перевязали голову, дали попить пригорно сладкого чаю и я, отлежавшись и немного придя в себя, отправился домой. Мама, хоть и привыкла к тому, что я не раз проливал кровь на поле брани неизвестно за что, на этот раз чуть не лишилась дара речи, увидев меня страшно бледного с головой перевязанной пропитавшимся кровью бинтом.

– Не пугайся, – только и смог сказать я. – Мы играли...

Она уложила меня в постель и вызвала врача. Тогда ни у

кого на нашей улице не было домашнего телефона и за врачом в поликлинику сбегал один из соседей. Вскоре я набрался сил и моя мальчишеская жизнь продолжалась, по-прежнему безалаберная и в меру безоблачная, если не считать уроков в школе, в необходимость которых я уже тогда не очень верил.

С годами я все чаще думаю о смерти, стараюсь осмыслить её нелепость и уродливость, стараюсь придать ей, сколько возможно форму разумного, продуманного в человеческой жизни финала, продуманного мудрым Всевышним, но снова и снова понимаю, что это невозможно – смерть нелепа и уродлива, и все мои близкие, любимые мной люди, мои друзья и родные не должны были умирать, ведь с ними умирали частички моей души; но зато в памяти моей они жили все ярче, потому что вспоминал я их с любовью, смерть их опустошала мою душу, но обогащала память. И я, в ком писатель преобладал больше, чем человек, с одной стороны был рад, что память моя о них, незабвенных, становится ярче и острее и пригодится в работе; как врач, наблюдающий агонию близкого человека, делает про себя профессиональные заметки и выводы, позабыв на мгновение, что он прежде всего человек, а потом уже профессионал, так и я, прости Господь грешную душу.

Прервусь... сейчас я пишу эти строки и, несмотря ни на что, снова понимаю: моя жизнь наполнена.

Одно из ярких воспоминаний детства – мотоцикл «Малютка». Сосед слесарь, на горе нам, мальчишкам с нашей улицы и близлежащих улиц (которых мы без особого восторга пускали на свою и как правило их визиты заканчивались дракой), собрал своими золотыми руками мастерового мини мотоцикл и держал его в подвале своего дома, время от времени выводя на улицу и на тротуаре перед домом демонстрируя его возможности. Это была точная копия настоящего мотоцикла: такие же колеса с накаченными покрышками, поменьше только, такой же руль и даже зеркала по обе стороны руля, маленький бак для бензина литра на два, удобное седло-сидение, сверкающие на солнце спицы, одним словом – мечта, но когда мы узнали цену, которую хозяин запрашивал за это чудо, то поняли, что мечта эта для нас недостижима. Мы жили в рабочем квартале, пролетарии, бедняки, так что, такая игрушка, как мини-мотоцикл «Малютка» (кстати, эта красивая серебристая надпись красовалась на бензобаке мотоцикла выполненная в форме стрелы и вызывала сомнения в авторстве хозяина, все-таки красивый дизайн был не по его части, грубая деревенская скотина, какой там еще дизайн...) оставалась для нас, мальчишек мечтой. А этот садист, вытаскивая из подвала, где он держал нашу мечту, свое творение, будто желая подразнить нас, заводил мотор и несколько минут мотоцикл тарахтел на всю улицу, как пулемет, созывая нас, мальчиков любоваться на нашу любимую «малютку».

Не знаю, как другие соседские ребята, а я был, в самом деле, влюблен в этот мотоцикл, так что он мне снился по ночам, как раньше девочки, в которых бывал влюблен (с той только разницей, что не уступал ему половину своей подушки) я буквально бредил им. И когда у нас появилась дача, я все еще помня о своей неостывшей мечте, поначалу пенял отцу, что, если он мог купить дачу, то, наверняка, мог бы позволить себе и мотоцикл, но уродливое законодательство одной шестой части суши такие игрушки, как самодельный детский мотоцикл причисляло к предметам роскоши, тогда как дачи трудящимся позволялось покупать, с условием, что дома на этих дачах будут не выше первого этажа. И тут цензура!..

Много раз я себе говорил: нельзя набрасываться на работу, так же как и на женщину, итог будет грустный; их надо брать постепенно, приступом, как крепость, брать лаской, очень медленно и доброжелательно подступаться, сияя улыбкой, так, чтобы и та и другая даже поначалу не поняли, что ты их домогаешься, усыпляя бдительность и можешь ими овладеть. Но, что бы рациональное мышление, разум ни повторяли, неоднократно обжегшись и имея печальный опыт, нетерпеливый мой характер делает по-своему: с неулыбчивым, хмурым лицом, предвидя финал, уже заранее обреченный на фиаско, я набрасываюсь. Часто получаю отпор – с первых же строк работа не идет, с первых же слов женщина замыкается, как закрывающийся лепестками

на ночь цветов, уходит в себя, как улитка, но бывает и обратное: постепенно (гораздо дольше, конечно, чем было бы, если б я поступил разумно с самого начала и послушался голоса рассудка) приходится начинать заново, восстанавливая в душе равновесие и любовь, на что уходит много энергии и душевных сил, но со временем все налаживается – работа идет в нужном русле, женщина ложится.

В писательском ремесле для меня главным остается вдохновение, не побоюсь громкого слова (потому, что вдохновение и есть громкое слово, самое громкое из всех громких), главным остается лихорадочное состояние, когда предчувствие э т о г о, что должно произойти и очень скоро, охватывает всего тебя, когда ощущаешь дрожь во всем теле, как неопытный мальчик, взбудораженный весной, внутренне дрожит и боится, подходя к первой своей женщине, когда сердце бьется учащенно и ты знаешь, пока будешь писать оно не избавится от временной тахикардии, но тебе плевать на это и на все на свете, кроме работы и зыбкого ощущения, что сейчас получится, сейчас р о д и т с я. Многолетняя практика показала, что если заставлять себя работать без этого великолепного ощущения, каждый день в одно и то же время выпуская на волю определенное количество строк и – напротив – если бездельничать и плевать в потолок целую неделю и всего один день писать по вдохновению, которое я здесь попытался описать бледными словами (потому что оно в сущности неопишимо, как любовь), то результат будет один и

тот же – все равно в итоге вершиной будет то, что написано в тот самый день, лихорадочный, счастливый день – подарок Бога; и семь дней, когда ты заставлял себя работать, заставлял сесть за письменный стол, профессионально настраиваясь на работу, всячески провоцируя себя и вспоминая примеры дисциплинированных великих писателей, (а Бог в это время наблюдал за тобой и посмеивался), ты потратил впустую, потому что эти дни ты мог бы посвятить друзьям, пить и веселиться с ними, или бродить по улицам, думая о смерти, или любить женщину... Но ты потратил это время впустую, заставляя себя работать без вдохновения, без ангела за твоей спиной. Один день, один-единственный день перевесит все остальные.

Журналисты часто меня спрашивают – я заметил: они любят задавать похожие вопросы – как я отношусь к тому, что тиражи книг в нашей стране упали, что мало читающей публики. Как я могу к этому относиться? Я думаю, они хотят разбудить во мне чувство ностальгии по прежним временам, когда мои книги выходили огромными по нынешним меркам тиражами. Но никакого чувства ностальгии именно по этому поводу у меня нет, я трезво смотрю на вещи, было время, когда литература, кино, другие виды искусства для руководства страны с тоталитарным режимом служили в первую очередь средством пропаганды существующего строя; и многие деятели искусства работали на эту пропаганду, отсюда и

огромные тиражи (кстати, непомерно низкие гонорары, какими бы большими по сравнению с зарплатой госслужащего они не выглядели; уродливая тиражная политика в стране делала эти гонорары по сравнению с тиражами весьма и весьма низкими), и множество льгот, что предоставлялись писателям и прочим деятелям искусств. Сейчас мы вернулись к нормальному состоянию, в котором изначально находился весь мир: книги писателя покупают – он живет хорошо, не покупают – живет плохо. Одно вызывает сожаление: именно в нашей стране число читателей катастрофически снизилось. Катастрофически и стремительно.

Да, я заболел этой игрушкой, мотоциклом «Малютка». А хозяин этого рукотворного чуда, видя наши горящие взгляды, которыми мы смотрели, ласкали, целовали мотоцикл, позволял нам (будучи навеселе, в хорошем настроении) садиться на седло мотоцикла, братья за руль, чтобы всем телом, всем естеством своим почувствовать, какое это наслаждение. И мы чувствовали всем естеством, но потом становилось еще горше от того, что наслаждение оказалось очень кратковременным. Естественно, большинство мальчишек просило у отцов приобрести этот чудо-мотоцикл, я не был исключением, на нашей улице среди ребят был повальный психоз, плач и стенания по мотоциклу. Но не только на нашей, приходили смотреть на мотоцикл из дальних кварталов, хозяину удалось сделать для своего детища хорошую

рекламу именно через нас, мальчиков, но пока найти настоящего покупателя он не мог; многие приходили с отцами или старшими братьями, те приценивались и уходили ни с чем. А однажды, когда я уже донельзя надоел дома родителям своими слезными мольбами, отец как-то ночью, думая, что я сплю, сказал матери:

– Такую цену загнул, чертов сын! Я говорю ему: даже настоящий столько не стоит, а он мне – это же произведение искусства, разве не видите!?

Я слышал только обрывок их разговора, только эти фразы, но сразу же понял, что речь идет о предмете моей мечты, о том, чем я бредил последние несколько недель, сразу догадался, потому что только об этом и думал. Боже, как мне хотелось приобрести, вернее, чтобы отец приобрел мне эту потрясающую игрушку. Обычно, мы, подростки сами в те годы мастерили себе игрушки – самокаты на подшипниках, доски на подшипниках, колеса, что катили на проволочной держалке и многое другое; и если б кто купил детский мотоцикл, или даже велосипед, это был бы сногшибательный скачок от примитивных, самодельных наших игрушек до умопомрачительно роскошной мечты. В магазинах игрушек выбор был небольшой – куклы, игрушечные автоматы, пистолеты – раз-два и обчелся. Однако, мотоцикл «Малютка», когда слесарь – народный умелец собрал его и выставил на продажу, затмил все, о чем мы до сих пор мечтали, что мы желали. Мы узнали все о нем, он развивал скорость до трид-

цати километров в час, примерно на столько же хватало горючего в его баке, все необходимые детали слесарь вытачивал своими руками и тайком протаскивал через проходную завода, на котором работал. Риск был большой, в те годы за такое могли привлечь к уголовной ответственности по статье «расхищение государственного имущества», нам, мальчишкам это было неведомо, и мы очень злились на него за то, что не хотел сбавить цену. Но в то же время каждый из нас в душе боялся, что мотоцикл купит не он, а другой, и тогда вряд ли придется еще хоть раз посидеть на его седле – мальчишки народ жестокий и за свое имущество держатся крепко. Впоследствии слесарю все же удалось найти покупателя и мотоцикл «Малютка» благополучно покинул нашу улицу, наш квартал, купил его кто-то для сына и, говорят, увез на дачу, подальше от завистливых глаз. И постепенно, как и все недосягаемое для нас в жизни мы, мальчишки забыли его, забыли свои несбывшиеся мечты и надежды, и мне пока я вырос, приходилось еще не раз терпеть подобные поражения, когда до своего страстного желания, до мечты нельзя было дотянуться рукой и оно оставалось втуне. Это и понятно – детские желания часто превышают возможности взрослых, и одно за другим эти нереализованные желания оставляют горький осадок в душе ребенка, и ничего нет удивительного, что дети из бедных семей в большинстве своем вырастают людьми с комплексами, со стремлением вернуть себе радости и удовольствия, что недодали им взрослые в ранние го-

ды жизни, вырастают порой – с преступными наклонностями вследствие подавленных в детские годы желаний.

Искусство, литература – это маленький домик из одеяла, который создают дети, играя; домик, куда прячется ребенок, в своем воображении строя свой мир; выросший ребенок, продолжая игру, находит в сотворенном его фантазией мире возможность спрятаться, убежать от мира реального, жестокого, несправедливого, чьи правила он не может принять. Литература дает такую возможность. Но уходя от реального мира, писатель все-таки на него опирается, его берет отправной точкой в своих произведениях, забирает его неприемлемые для себя законы и атрибуты в свое творчество; ему хочется создать свой добрый, уютный мир, свое гнездышко из одеяла-домика, свой мир справедливости, но в то же время он понимает, что должен отображать реальный мир со всем его каждодневным уродством и волшебством, превосходящим любую писательскую фантазию. И часто из реального мира берется столько интересного, потрясающего, жестокого, доброго, прекрасного и жуткого и так действенно, талантливо отображается, что книги автора становятся бестселлерами и ведут его по пути в роскошную жизнь, где ему уже нет необходимости прятаться в домик из одеяла. Бывает и иначе, ведь писательство очень индивидуально, и писатели не похожи друг на друга, очень отличаются друг от друга, и бывает, что не умея делать популярными свои книги, писа-

тель все еще прячется от жизни в своем детском домике из одеяла, успокаивая себя мыслью, что неблагодарный современный читатель еще не дорос до его произведений.

Мой приход в литературу (некоторые журналисты впоследствии утверждали, что я ворвался в литературу, но мне не хотелось бы врываться в дом, где царили такие гении как Шекспир, Физули, Достоевский, Диккенс и многие другие великие Мастера; одного недоумевающего их взгляда на меня было бы достаточно, чтобы я попятился и убежал, пристыженный) был не могу сказать, чтобы очень уж ровный, без проблем, поначалу я чуть не стал инженером-строителем; еще бы года два и я бы получил диплом, такой необходимый и такой престижный в то время. Но я вовремя остановился. Во-первых, уже с юношеских лет я стал пописывать в газетах разные незрелые статейки и очерки, возомнив себя журналистом и чуть ли не писателем, и еще: за три года, что я провел в стенах Политехнического, попав туда по воле случая и уж никак не по призванию, я успел возненавидеть всей душой чертежи и все технические предметы, которые как мне казалось, притупляли моё буйное воображение, так необходимое Литературе, которая заждалась меня, отчаялась уже меня обрести и заранее скорбела по своему непутевому сыну. Позднее я понял, что был неправ насчет технических предметов, я стал понимать какая высокая поэзия таится в цифрах и вдохновенных поисках точного раскрытия сложнейших формул. Тогда я этого не понимал, и на-

блюдал жизнь в отрыве от ненужной мне учебы. Но ничто не пропадает зря, если уметь видеть и жить сегодняшним днем – Политех многому меня научил, были рядом со мной интереснейшие персонажи, происходили удивительные события; многое потом фрагментарно или целиком, обратившись в эпизоды из разных произведений и в полноценных литературных героев, вошли в мои книги; а интересные события по горячим следам я тут же записывал в свой «писательский» блокнот, рассчитывая, что когда-нибудь эти записи мне пригодятся. Вообще, очень долго я не расставался с моими рабочими блокнотами, которых за десятилетия скопилось тьма-тьмушкая, и в которые, надо сказать, я очень редко заглядывал, оставляя на потом, когда не смогу довольствоваться иссякающими, похудевшими свежими идеями, только что пришедшими в голову и тут же коварно ускользнувшими, подрашив. Но, слава Богу, приходили и часто даже долго гостили. Не жалею. А старые записи время от времени, когда наступали паузы и приходило время плевать в потолок, я вытаскивал на свет божий и перелистывал, просматривал и с удовольствием убеждался, что почти ничто из записанного не устарело, что это не сиюминутные записки репортера, привязанные к своему времени, а события, случаи, происшествия и люди, о которых всегда интересно писать.

Из сорока человек абитуриентов, поступавших в Литературный институт в один год со мной, человек тридцать были

гениями. Они после обильных шумных возлияний в общезжитие ловили друг друга в коридорах и угрожающе вопрошали:

– А ты знаешь, что я – гений? Нет? Ну, слушай!

И после этих слов следовали километровые стихи.

Я стихов к тому времени не писал, уже полностью вверил себя прозе, и потому стихи молодых начинающих гениев слушал с легким недоумением, постепенно вызывавшим в душе моей темный ужас, а на финальный вопрос гения:

– Ну, как?

Честно отвечал:

– Дерьмо.

Порой заканчивалось дракой, но мне ли к дракам привыкать? Но однажды, совершенно неожиданно начинающий гений отреагировал на мой ответ добродушным смешком.

– Я знаю, – сказал он, и прибавил. – Но это не мешает мне быть гением, не правда ли, старичок?

Я задумался над его ответом.

Может ли человек достоверно знать, что он гений? Наверное, может. А может человек открыто называть себя гением? Наверное, может. Ведь Пушкин говоря от лица Моцарта, признающего, что он гений, считал в первую очередь гением себя, таким же, как Моцарт, как Бомарше и другие великие творцы. Можно откровенно называть себя гением, не скромничая, ведь скромность – удел бездарей, и творческая личность, а тем более – гений не может быть скромным,

это нонсенс; правда, живя среди людей и умея преподнести себя должным образом, он с виду может производить впечатление очень скромного человека, чтобы вызывать умиление у обывателей, своих почитателей, но только троньте его за живое, только сравните его с кем-то, кто на ваш взгляд талантливее, ого-го!.. Лучше отойдите на пять шагов... Он – единственный и неповторимый. Но в работе, когда мучают сомнения, когда разрываешься в поисках точного слова, когда бьет лихорадка творчества, когда тревожно на душе и боишься приступить к новой работе, к новому произведению, вот именно тогда неуверенность, зыбкость, эфемерность, воздушность, неуловимость того, чем ты занимаешься, убивают в тебе твердость духа, и ты просто должен работать, потому что, чтобы что-то сделать надо начать это делать...

Здесь я хочу рассказать об одном эпизоде, точнее о ряде повторяющихся эпизодов. Время от времени я встречал на улицах одного из моих дальних родственников, он был примерно лет на десять младше меня, и когда мы встречались, считал своим долгом плакаться мне в жилетку.

– Вот, – говорил он, – мне уже двадцать, а я до сих пор не смог поступить в институт...

Я не мог понять, что он хотел от меня. Совета? Участия? Чтобы я успокоил его мудрыми изречениями из классиков?

В следующий раз он говорил:

– Мне уже двадцать пять, а я так и не нашел себя в жизни,

а? Это же ужасно.

Потом:

– Ты представляешь, мне стукнуло тридцать три, а я до сих пор...

И так далее...

Он ничем не занимался, не учился, не работал, не увлекался, не женился, не предпринимал никаких действий, чтобы поменять свою ленивую, однообразную жизнь, и не сидеть на шее у матери.

Я как-то сказал ему:

– Если хочешь что-то делать, надо начать это делать.

Неоспоримая истина, не я её выдумал. Но на него, видимо, мои слова нимало не подействовали. Он все так же слонялся по улицам и, встречая меня, все так же жаловался на свою жизнь, но палец о палец не желал ударить, чтобы что-то изменить в ней. Я стал избегать его.

В тридцать семь лет он умер от менингита, и естественно, уже не встречался мне на улицах, и я некоторое время вспоминал его с щемящим чувством, сжимавшим мне сердце. Нечто, не совсем для меня ясное, отдаленно напоминавшее угрызение совести, скребло мне сердце, и я думал, что, наверное, я мог бы ему помочь чем-то более существенным, чем напоминание назидательных постулатов, видно воспринимавшееся им, как сотрясение воздуха – бу-бу-бу... Теперь, вспоминая его, я прихожу к мысли, что может и он тоже, как и многие поучительные моменты в моей жизни, по-

служил мне примером для не подражания и невольно дал толчок к тому, чтобы я всем сердцем, всем существом своим проникся этой простой истиной – если что-то хочешь сделать, начни это делать.

...И вот ты уже делаешь, работаешь, как проклятый, и уже забываешь всю свою нескромность, всю свою гениальность и только неуверенность и зыбкость, эфемерность и неуловимость довлеют над тобой, и страх, страх охватывает тебя, тебя лихорадит, как голого в снежной ночной степи. «Ну что, – снова и снова назойливо спрашивает нахальный голосок в тебе, – ты и теперь гений?»

Сколько идей погибло во мне, не родившись, сколько идей для кино, для книги, иные спотыкались о скудоумие и трусость чиновников, импотентов от искусства, иные о мои страхи, и в итоге рождались только самые смелые, самые крепкие, самые приспособленные к жизни, рождались, облекаясь в слова, оставались, жили отдельно от меня, но я их не забывал. Я мало думал о читателе. Я сам был читателем.

Как-то в начале девяностых прошлого века, в смутный период безвременья в моем городе, я шел рано утром мимо старого книжного пассажа, где, помнится, буквально несколько лет назад выстаивал большие ночные очереди, чтобы купить книжные новинки; и вот, иду я мимо книжных магазинов и вижу разбросанные по улице книги. Я машинально, не нагибаясь, стал читать на корешках и обложках: Ромен Роллан,

Лев Толстой, Рэй Бредбери, медицинский справочник, словарь синонимов... Неподалеку дворничиха подметала забытую прохожими улицу.

– Что тут произошло? – спросил я её.

Она удивленно глянула на меня.

– Ничего не произошло.

– А эти книги?.. – я указал на книги под ногами у меня, к которым она уже подбиралась с метлой.

– А, – сказала она. – Тут ремонт начинают. Вот и повыкинули. Здесь, говорят, парикмахерская будет.

– Ясно, ясно, – сказал я. – А можно я кое-что заберу?

– Да на здоровье! – тут же весело отозвалась дворничиха. – Хоть все забирайте. Мне работы меньше будет.

Поднимая с земли книги, я взглянул на распахнувшийся двери давно знакомый книжный магазин, на пороге которого тоже валялись кучи книг, будто выпустили кишки человеку, распоролли живот и все внутренности выпали наружу, на всеобщее обозрение.

В конце концов, мне купили велосипед. Это была компенсация за то, что мотоцикл «Малютка» от меня уплыл, и мои мечты о нем постепенно тлели, угасали, растворялись в буднях, мальчишеских заботах, радостях и тревогах. Велосипед тоже было неплохо, я давно хотел такой, чтобы летом ездить на пляж от нашей дачи, на пляж и обратно. В город я его решил не брать осенью, хотя очень хотелось повыёживаться

среди мальчишек, не имеющих велосипеда.

В годы моего детства были очень популярны фильмы Раджа Капура с великолепным музыкальным оформлением, не знаю, какого композитора, да и никто, верно, не помнит, потому что главным был актер и режиссер Радж Капур (теперь я знаю, что на его актерское исполнение огромное влияние оказала школа великого Чаплина, но в то время всем казалось, что игра звезды индийского кино очень самобытна и неповторима, что было верно, несмотря на многое, что было заимствовано им из Чаплинского искусства) он запомнился, был бешено популярен у нас в городе, да и на всем Востоке, фильмы с его участием постоянно шли в кинотеатрах и имели большой успех. Середина прошлого века, разгар социализма, что грозился перейти в коммунизм в огромной стране, граждане которой боялись показаться богатыми; и тут как нельзя кстати пришлось – говоря словами классика марксизма-ленинизма «из всех искусств важнейшее» искусство Раджа Капура, которое подспудно пропагандировало окрашенные в романтические тона бедность и нищету, так что, многие граждане – в особенности молодые – чуть ли не гордились своей бедностью и все поголовно стремились стать бродягами, как герой фильма знаменитого Раджа. В кинотеатрах спекулянты не успевали продавать билеты в три, а то и в пять раз дороже стоимости, каждый сеанс шел с аншлагом, весь город напевал, насвистывал, мурлыкал под

нос песни из фильмов, но композитора никто не помнил и не интересовался узнать его имя, и редко кто – может сами местные композиторы и музыканты – возможно, обращали внимание в титрах на имя композитора. А музыка была великолепной, потому что в основе всех песен в фильмах была прекрасная, очень запоминающаяся мелодия. Сейчас не сложно выйти в Интернете на эти старые фильмы и посмотреть имя композитора в титрах, и упомянуть его здесь, но мне хотелось оставить все как есть, все, как было в годы моего детства, когда я тоже, как и все не интересовался узнать, кто же создал такие чудесные песни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.